

ПРОЛОГ

Окончание минувшей войны я встретил в Нью-Йорке. Район Пятьдесят седьмой улицы, где я тогда обрелся, для меня, бесправного эмигранта, не способного толком и пару слов связать на чужом языке, стал почти второй родиной.

За плечами у меня лежал долгий, опасный маршрут, *via dolorosa*¹ всех скитальцев, кому выпало спастись бегством от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию, Северную Францию путь этот вел поначалу в Париж, где была первая развилка. Оттуда одна дорога шла через Лион на побережье, к Средиземному морю, другая через Бордо и Пиренеи устремлялась в Испанию и Португалию, в лиссабонскую гавань.

Я выбрал именно этот путь, как и многие, кому посчастливилось ускользнуть из когтей гестапо. Но и в странах, через которые проходил наш путь скитаний, мы отнюдь не чувствовали себя в безопасности, ведь годные удостоверения личности, действующие паспорта, не говоря уж о визах, имели среди нас лишь единицы. Стоило угодить в лапы жандармам, и тебе обеспечен был арест, приговор, тюрьма или высылка. Впрочем, в некоторых странах у властей доставало человечности хотя бы не выдворять нас через немецкую границу: в Германии нас ждали концлагерь и неминуемая гибель.

¹ Крестный путь (*лат.*) — *Здесь и далее примеч. перев.*

Поскольку лишь немногие из нас, изгнанников, успели обзавестись действующими паспортами, мы были обречены на безостановочное бегство. Ведь законным образом где-либо устроиться на работу без нормальных документов было невозможно. Почти каждый из нас претерпевал голод, нужду и одиночество, вот мы и называли дороги наших скитаний *via dolorosa*.

Главными ориентирами на этом пути нам служили почтовые отделения в небольших городках и побеленные стены оград, что тянулись вдоль дорог. На почте мы надеялись получить письмецо до востребования от родных и близких, а стены домов и оград вдоль шоссе становились нашими газетами. Они заменяли нам страницы объявлений: письменами, мелом и углем на них пестрели имена потерявшихся и ищущих, адреса, предостережения, советы — все те беззвучные зовы в пустоту, крики отчаяния в лихолетье всеобщего равнодушия, за которым вскоре наступит совсем уж бесчеловечное лихолетье войны, когда и гестапо, и французская милиция, а зачашую и полевая жандармерия — все будут заодно, учиняя охоту на нас, несчастных изгнанников.

I

Лишь пару месяцев назад я на грузовом пароходе прибыл из Лиссабона в Америку, по сути не зная английского — можно считать, почти глухонемой, выброшенный на здешний берег с другой планеты. Да я и был с другой планеты, ведь там, в Европе, шла война.

Вдобавок у меня и бумаги были не в порядке. Хоть и имелась — благодаря невероятному стечению обстоятельств — самая настоящая американская виза, по которой я и въехал в страну, однако виза эта красовалась в паспорте отнюдь не на мое, а на совершенно чужое имя. Иммиграционные власти заподозрили неладное и определили меня на остров — он назывался Эллис Айленд. И лишь позже, полтора месяца спустя, выдали мне вид на жительство сроком еще на три месяца. За это время мне предписывалось обзавестись въездной визой в какую угодно другую страну. Эту бюрократическую канитель я хорошо изучил еще в Европе. Там в подобном подвешенном состоянии я существовал годами — причем иной раз счет шел не на месяцы, а на дни, на двое-трое суток. В реальном своем статусе немецкого эмигранта я с тридцать третьего года так и так официально числился умершим. А теперь мне дозволено целых три месяца просто жить, не помышляя о бегстве, — да о таком счастье я и мечтать не смел!

Мне давно уже перестало казаться странным, что я живу под чужим именем, по паспорту мертвеца, — напротив, меня это уже почти устраивало. Паспорт этот я, можно считать, унаследовал во Франкфурте; человек, подаривший мне его ровнехонько в день своей смерти, носил фамилию Росс. Следовательно, и я теперь тоже звался Роберт Росс. Свое настоящее имя я почти запомнил. Не стоит удивляться: когда жизнь на кону, и не такое забудешь.

На Эллис Айленде я свел знакомство с турком, который лет десять назад уже побывал в Америке. Понятия не имею, почему в этот раз его не пустили, да я его и не расспрашивал. По опыту знаю: человека иной раз выдворяют просто потому, что данные его анкеты ни под одну рубрику бюрократических инструкций не подходят. Так вот, этот турок дал мне адресок какого-то русского, давнего своего нью-йоркского знакомого. Турок, правда, не знал, жив ли вообще тот его приятель. И тем не менее, как только меня выпустили, я первым делом именно по этому адресу и отправился. И не видел в том ничего странного: я годами так жил. Кто столько лет спасается бегством, тому не привыкать надеяться на случай — и чем невероятней случай, тем больше надежд он сулит. Таковы уж сказки наших дней, пусть и не очень веселые, но иной раз, вопреки всем ожиданиям, даже со счастливым концом.

Тот русский, как оказалось, работал в гостинице, небольшой и донельзя запущенной, но, правда, вблизи Бродвея. Фамилия его была Меликов, он говорил по-немецки и тотчас согласился мне помочь. Сам эмигрант с многолетним стажем, он наметанным глазом мгновенно определил, что мне нужно: жилье и работа. С жильем все решилось просто: у него имелась запасная койка, которую он и поставил к себе в комнату. С работой бы-

ло сложнее, ведь виза у меня туристическая, права на работу она не давала — для этого требовалась другая виза, с номерной квотой. Короче, работать я мог только нелегально. Мне и это по Европе было знакомо, и я не слишком на сей счет тревожился. Да и кое-какие деньги у меня еще тоже оставались, пусть и немного.

— Вы хоть представляете, на что жить будете? — поинтересовался Меликов.

— Последняя работа у меня была во Франции, агентом по продаже сомнительной живописи и фальшивого антиквариата.

— И вы что-то в этом смыслите?

— Не слишком много, но кое-что, скорее по азам.

— И где же вы этим азам обучались?

— В Брюсселе, в музее, два года.

— Работали там? — Меликов явно удивился.

— Скрывался.

— От немцев?

— От немцев, которые оккупировали Бельгию.

— Два года? — переспросил Меликов. — И вас не поймали?

— Меня — нет. Но человека, который меня прятал, да, взяли.

Меликов глянул на меня внимательнее.

— А вам, значит, удалось уйти?

— Удалось.

— А о том, другом, потом что-нибудь слышали?

— Обычная история. Отправили в концлагерь.

— Это был немец?

— Бельгиец. Директор музея.

Меликов задумчиво кивнул.

— И где же вам удавалось так долго прятаться? — спросил он. — Или в музее не было посетителей?

— Почему же, были. Днем я сидел взаперти в подвале, в запаснике. Директор приходил вечером, приносил мне поесть, а на ночь выпускал. Не из музея, конечно, из подвала. И свет, само собой, зажигать было нельзя.

— Еще кто-то в музее про вас знал?

— Нет. Окон в запаснике нет. Когда кто-то в подвал спускался, надо было затаиться. Больше всего я боялся не вовремя чихнуть.

— На этом и погорели?

— Нет. Просто кому-то показалось странным, что директор так часто на работе задерживается, а если и уходит, то потом обязательно возвращается.

— Понимаю, — проговорил Меликов. — А читать вам удавалось?

— Только ночами, летом, или когда луна.

— Но вы всю ночь могли расхаживать по музею и разглядывать картины?

— Когда их было видно, да.

Меликов улыбнулся.

— Когда из России бежал, мне однажды шесть суток в сарае за поленницей пролежать пришлось. Когда наконец вылез, мне казалось, времени прошло гораздо больше. Недели две, не меньше. Молодой был, а в молодости время вообще куда медленней идет. Есть хотите? — спросил он вдруг без всякого перехода.

— Да, — ответил я, — и даже очень.

— Так я и думал. Стоит на воле оказаться, сразу есть хочется. Пойдемте в аптеку, перекусим.

— В аптеку?

— Да, в драгстор. Такая уж национальная особенность. Можно и аспирин купить, и поесть заодно.

* * *

— А днем чем вы в этом музее занимались, чтобы с ума не сойти? — полюбопытствовал Меликов.

Я окинул взглядом длинную стойку, за которой, уставившись на рекламные плакаты и аптечные пузырьки, торопливо жевали люди.

— И что здесь полагается есть? — вместо ответа спросил я.

— Гамбургер. Гамбургер и венские сосиски — самая популярная у американцев еда. Стейк простому человеку не по карману.

— Спрашиваете, чем в музее занимался? Днем дожидаясь вечера. И конечно, всеми возможными способами старался отвлечься от мыслей об угрожающих мне опасностях. Иначе и свихнуться недолго. Но у меня по этой части уже навык имелся: как-никак, столько лет в бегах, а первый год и вовсе в Германии скрываться приходилось. Главное же — строго-настрого запретил себе думать о прошлых своих ошибках. Это бессмысленные сожаления, а душу разъедают сильнее соляной кислоты; такую роскошь лишь в благодные времена можно себе позволить. Освежал свой французский, придумывая для себя самые разные упражнения. Потом принялся по ночам бродить по залам музея, разглядывая и, главное, стараясь запоминать картины. Вскоре я помнил их все до мелочей. И начал, в кромешной тьме своего дневного затворничества, мысленным взором воспроизводить их по памяти. И не как придется, а в строгой последовательности и подробнейшим образом, полотно за полотном, как они развешаны в залах, — порой на одну картину уходило много дней. Конечно, иногда у меня случались приступы отчаяния, но я брал себя в руки и начинал все сызнова.

Разглядывай я картины просто так, бесцельно, отчаяние наверняка накатывало бы гораздо чаще. Но я превратил это занятие в упражнение для памяти и тем самым открыл для себя возможность совершенствования. Я уже не бился головой об стену — передо мной была лестница, по которой шагаешь вверх, ступенька за ступенькой, понимаете?

— Ну да, вы не опустили руки, нашли для себя занятие, — сказал Меликов. — И поставили себе цель. Это вас и спасло.

— Помню, с Сезанном и несколькими картинами Дега я провел целое лето. Разумеется, это были вспоминаемые полотна, и сравнивал я их тоже по памяти. Но тем не менее я их сравнивал, сопоставлял, а это само по себе оказалось нешуточной задачей. Я запоминал краски, композицию — притом, что картины эти при дневном свете ни разу не видел. Это был, так сказать, лунный Сезанн и ночной Дега; по сути, я запоминал и сравнивал лишь сумеречные тени изображений. Потом, в музейной библиотеке, нашлись альбомы. Я садился к самому окну и рассматривал репродукции. Конечно, это был мир призрачной живописи, но это был мир.

— А что, охраны в музее не было?

— Только днем. На ночь просто запирали. К счастью для меня.

— И к несчастью для человека, который приносил вам еду.

Я вскинул на Меликова глаза и с расстановкой, как можно спокойнее произнес:

— И к несчастью для человека, который меня прятал. — Я видел: он говорит без всякой задней мысли и не хочет меня упрекнуть. Просто подытоживает услышанное, вот и все.

— Не надейтесь прожить, начав здесь славную трудовую карьеру нелегальным мытьем посуды, — буркнул он. — Это все романтические сказки, а с тех пор, как существуют профсоюзы, вдобавок совершенно несбыточные. Без заработка сколько вы сможете продержаться, чтобы не умереть с голоду?

— Не долго. Сколько вы сейчас за меня заплатили?

— Полтора доллара. С тех пор, как у нас война, все дорожает.

— Война? — повторил я. — Какая же здесь война?

— Да такая, — хмыкнул Меликов. — Опять же, на ваше счастье. Всюду люди нужны. Безработных вообще не осталось. Тем легче вам будет что-нибудь подыскать.

— Но мне же через два месяца снова куда-то отправляться.

Меликов рассмеялся, жмуря свои маленькие глазки.

— Америка очень велика. К тому же идет война. Опять же, вам на счастье. Вы где родились?

— Если по паспорту — в Гамбурге. Если по правде — в Ганновере.

— Ни в Гамбург, ни в Ганновер вас высылать не станут. Но в лагерь для интернированных спровадить могут.

Я пожал плечами.

— В одном я уже побывал, во Франции.

— Сбежали?

— Скорее в один прекрасный день просто ушел. Пользуясь разбродом и паникой позорного военного поражения.

Меликов кивнул.

— Мне тоже довелось побывать во Франции. И тоже в пору разброда и шатания, правда, после позорной военной победы, которая оказалась фикцией. В девятьсот восемнадцатом. Я туда из России добрался — через

Финляндию и Германию. Так сказать, с первой волной нынешнего переселения народов, назовем его малым. По-моему, глоток водки нам сейчас не повредит, как вы считаете?

— Вообще-то опыт научил меня водки побаиваться, — ответил я. — Она внушает мне слишком много веры в собственные силы. Дважды это привело к печальным последствиям: тюремная камера и вши.

— В Испании?

— В Северной Африке.

— Давайте все-таки в третий раз рискнем. В здешних тюрьмах довольно чисто. Водка у меня в номере. Здесь-то не наливают. Вы, часом, не романтик? — спросил он вдруг.

— Лишь изредка. Полиция хватает романтиков чаще прочих смертных.

— Ну, полиции-то в ближайшую пару месяцев вам нечего опасаться.

— Что верно то верно. Но я пока не привык.

Мы пошли к Меликову в гостиницу, но долго я там не выдержал. Напиваться не хотелось, без дела сидеть в холле на обшарпанном плюше тоже было тошно, а комнатенка у Меликова совсем крошечная. Меня уже снова тянуло на улицу. Слишком долго я был лишен этой возможности. Даже на Эллис Айленде я чувствовал себя как в тюрьме, пусть и в благоустроенной, со всеми удобствами. Да и слова Меликова, мол, в ближайшую пару месяцев я могу не опасаться полиции, не шли у меня из головы. Пара месяцев — да это же целая вечность!

— Когда мне надо возвращаться? — спросил я.

— Когда угодно.

— Но спать вы когда ложитесь?

Меликов лишь вяло рукой повел.

— Только под утро. Сейчас мне работать надо. Женщину хотите найти? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. А порой и небезопасно.

— Да нет. Просто хотел еще немного пройтись.

— Женщину проще найти прямо здесь, в гостинице.

— Спасибо, не нужно.

— Это всегда нужно.

— Сегодня нет.

— Значит, все-таки вы романтик, — рассудил Меликов. — Запомните номер улицы и название гостиницы: отель «Рубен». В Нью-Йорке трудно заблудиться: почти все улицы идут просто по номерам, с названиями лишь очень немногие.

«Совсем как я, — подумалось мне. — Номер главное, а уж имя как придется. Блаженная анонимность... С именами вообще хлопот не оберешься, у меня лично от них одни неприятности».

* * *

Безымянной щепкой меня подхватило и понесло анонимное многолюдство города, чьи светлые дымы безмятежно возносились к небу. Зловещий столп огня ночью, светлый столп облаков днем — разве не сам Господь таким же способом указывал путь через пустыню первому в мире народу изгнанников? Я плыл в бурном месиве возгласов, шумов, смеха, отрывистых слов, и все эти звуки волнами бились о переборки моего слуха, но я различал в них лишь слитный штормовой гул, не понимая смысла. После померкшей в ночных затемнениях Европы всякий встречный казался мне здесь Прометеем, несущим людям огонь: и потный продавец, что, лоснясь отраженным электричеством, от дверей магазинчика зазывно простирает к про-

хожим руку с гирляндами носков и полотенец, и пузатый повар с пищей на огромной сковороде, подсвеченный ореолом искр, словно неаполитанский божок. Поскольку никого из окружающих я не понимал, все их движения воспринимались мною как пантомима, в некоем символическом смысле. Мне казалось, все они будто на сцене. Словно это не просто официанты, повара, зазывалы, продавцы, а вместе с тем еще и марионетки, разыгрывающие некое загадочное действо, в котором один я не участвую, а посему и суть угадываю лишь приблизительно, в самых общих чертах. Да, я нахожусь среди них, но я тут не свой, я посторонний, меня отделяет от них некая незримая преграда — не то чтобы стеклянная стена или какое-то отстояние, не то чтобы враждебность или чуждость, но нечто такое, чему причиной я сам и что исходит только от меня. Смутно я понимал: именно эти, теперешние мгновения неповторимы — второй такой встречи у меня не будет. Уже завтра все слегка потускнеет, лишится нынешней яркости — и не потому, что станет мне чуть ближе, скорее напротив; вероятно, уже завтра мне придется возобновить борьбу за существование, опять ловчить, принаравливаясь, крутиться, привирать, кривить душой и даже мошенничать слегка, и эти увертки и уловки, мелкие подлоги и обманы всецело заполнят мои будни, — но этой вот ночью, сегодня, сей миг город еще являл мне свое лицо совершенно открыто и безучастно.

И я вдруг понял: прибившись наконец к этим чужеземным берегам, я, оказывается, отнюдь не избежал невзгод и опасностей, напротив, они только теперь и начнутся. И это угрозы не извне, а изнутри. Я столько лет был поглощен лишь борьбой за выживание, и, должно быть, именно это меня и спасало. Да, то было ожесточенное стремление уцелеть, как в секунды паники при ко-

раблекрушении, когда нет у тебя другой цели, кроме как выжить. А теперь вдруг, с завтрашнего утра — да нет, уже с этих вот неповторимых мгновений — жизнь начнет раскрываться передо мной веером самых разных возможностей, в ней снова появится будущее, но и прошлое тоже, да такое, какое запросто способно меня убить, если я не сумею его запомнить или осилить. Я понял вдруг, что лед, которым оно покрылось, еще очень тонок и долго таким останется — ступать на него опасно. Только шагни — сразу проломится. Так что лучше не пробовать. Неужели бывает такое, чтобы можно все начать сызнава, с самого начала, как этот новый, непонятный язык, окутавший меня сейчас гулом и буквенной чехардой всей своей неизведанности, ожидая и требуя, чтобы я научился понимать его смыслы? Неужели бывает такое, чтобы заново начать жизнь, и не будет ли это предательством, да что там — убийством, вторым убийством уже однажды убиенных, тех умерших, кто так тебе дорог?

Я замер на месте, потом решительно повернул назад, растерянный, взбудораженный, взволнованный; я уже не глядел по сторонам и осознал, что даже задыхаюсь от спешки, лишь когда снова увидел дом с вывеской моей гостиницы, — он возник передо мной внезапно, не низок, не высок, не порываясь спесиво ввысь и не пластаясь по-хозяйски вширь, как отели подороже, а скромно, почти неприметно втиснувшись между другими зданиями.

Толкнув дверь, я оказался в холле, облицованном под мрамор, и за стойкой портье сразу увидел Меликова: тот мирно дремал в кресле-качалке. Он, впрочем, тут же открыл глаза, причем в первый миг мне показалось, будто у него, как у старого попугая, вовсе нет век, и только потом я обратил внимание на беззащитную голубизну его зрачков.